



Посвящается
Ф. и Д.
и
Л. и К.





На опушке Мунза-мулгарского леса жила некогда старая седая обезьяна из рода фруктоедов, по имени Мутта-матутта. И было у нее три сына: старший, Томма, средний, Тимбулла, и младший, *низзанила* — по имени Умманодда. Но сами они называли друг друга попросту — Том, Тим и Нод. Жили они в ветхой, покосившейся, полуразрушенной деревянной хижине, которую триста девятнадцать *мунза*-лет назад построил один путешественник, не то португалец, не то портингалец, как-то так: он заблудился в лесах за 22 997 миль от дома. После того как он умер, как-то раз тихим безмятежным вечером мимо скакал на четырех лапах один *мулгар* (или, как бы мы сказали на своем языке, обезьяна) по имени Зебба. При виде хижины он застыл неподвижно, склонив голову набок и прислушиваясь; на его широконосой морде играл отсвет

заходящего солнца. Затем он подобрался чуть ближе и заглянул в дверь. Заковылял было прочь, и снова вернулся, и заглянул еще раз. Наконец, расхрабрившись, он подошел вплотную и, раздвинув сплетения ползучих вьюнов и густые травы, протиснулся в проем и оказался внутри. Там, в темном углу, белели косточки портингальца.

В сухой, как трут, хижине обнаружили треснувший каменный очаг, что-то вроде комода или шкафа, стол и табуретка, все — грубой работы, изъеденные жучками, но еще крепкие. Зебба принялся, крикнул, потолкался-поозирался вокруг. И нашел в завалах мусора внутри хижины много всего любопытного и ценного: котелки для *шуббуба*; пестики и миски для выпечки лепешек-*манака*, три мешочка с огромными бусинами, прозрачными, синими и изумрудными; старый проржавевший мушкет; девять *эфелантовых* бивней, мешочек с камушками-маргаритами и много чего другого помимо холстины, и паутинного шелка, и вяленой рыбы, и сушеных плодов. Там незванный гость и поселился, там он и умер. Этому мулгару Зеббе Мутта-матутта приходилась прапраправнучкой.

И вот однажды, когда Мутта-матутта была еще молода, а ее отец ушел в лес за плодами *шудда*, к дому, прихрамывая, приблизился необычный мулгар. Сгорбленный, сморщенный, он дрожал всем телом и кашлял, но шел, как ходят люди, а его похожая на орех голова торчала из широкой красной куртки. На его макушке и на одном плече обозначились проплешины, натертые тяжелой котомкой. А следом ковылял еще один мулгар, его слуга, замотанный в жалкие лохмотья; заговорил

он не сразу — так распух его язык оттого, что он в темноте ненароком раскусил ядовитого паука, затаившегося в орехах. Господина звали Сейлем, а слугу — Блик. Этот Сейлем совсем расхворался. Мутта-матутта выхаживала его, не смыкая глаз ни днем ни ночью, и отпаивала самым горьким обезьяньим снадобьем. Он корчился от боли, его бил озноб и терзала дождевая лихорадка. Шерстинки на его голове за время странствий побелели на концах. Но он терпел и боль, и недуг (и горькое снадобье) без единого стоны или жалобы.

А Блик носил воду, собирал орехи и хворост и помогал Мутта-матутте всем чем мог. Он-то и рассказал ей, что его господин Сейлем — *мулла-мулгар*, то есть мулгар королевской крови, и приходится родным братом Ассасиммону, Владыке Тишнарских долин.

А еще Блик поведал, что его господину прискучил долинный дворец Ассасиммона вместе со всеми тамошними роскошными яствами и блюдами, и струнной и ракушечной музыкой, и бессчетными рабами-мулгарами, и скотом, и рощами, и садами; и вот, выбрав трех слуг, Якку, Глотту и его, Блика, Сейлем покинул долины своего брата, дабы разведать, что лежит за горами Араккабоа. Но Якку закусал до смерти мороз на южных склонах Тишнарского пика, а Глотту сожрали *минимолы*.

Он был молчалив и мрачен, этот мулла-мулгар по имени Сейлем, но охотно дал отдых избитому, измученному телу под гостеприимным кровом. А когда отец Мутта-матутты умер оттого, что заснул в лунном тумане в пору созревания шудда, Сейлем развязал дорожную котомку и обустроился в хижине как дома. Мутта-матутта была одинокой и довольно-таки грустной мулгарой; то-то

она обрадовалась, ведь она давно перестала бояться странствующего старца королевской крови и полюбила его. Она помогла разложить содержимое всех его котомок в шкафу портингальца: три хлопчатобумажных рубашки, две красных куртки, в точности такие же, как та, что на нем, с металлическими застежками-крючками, овчинный тулуп с пуговицами эфелантовой кости и клапанами на карманах, три кожаных башмака (один выпал из котомки и потерялся где-то в чаще); шапку из *мамасульей* кожи (очень дорогую); и в придачу ножи, огнива, полую чашу эфелантовой кости, волшебный лекарственный порошок, два гребня из рога *импалины*, зеленую змеиную кожу, очищающую воду и все такое прочее, а самое главное, молочно-белый Волшебный камень Тишнар.

Там, в хижине портингальца, они и прожили вместе, Сейлем и Мутта (как он ее называл), целых тринадцать лет. Мутта была счастлива с Сейлемом и своими тремя сыновьями, Томом, Тимом и Нодом. У них были свой источник с ключевой водой, дощатые и плетеные ульи на деревьях-*охлакондах*, шалаш или намёт из зеленых ветвей для Блика и обширный участок *уммуз*-тростника. Нод спал на крыше, зарывшись в солому и проделав в ней что-то вроде оконца: оттуда он отпугивал птиц от отцовского *уммуза*.

Если Мутте чего и недоставало, так лишь того, чтобы Сейлем не был таким угрюмым и хмурым, чтобы *мунзамулгары* [лесные обезьяны] не воровали у нее шуббуб и мед и чтобы портингальская хижина стояла подальше от серебристого лунного тумана, который поднимается с болот; ведь она (как большинство обезьян-

фруктоедов) страдала от ломоты в костях. Сейлем, при всей своей мрачной задумчивости, был мягок и ласков с Муттой и своими тремя сыновьями, но истинным утешением его сердца стал малыш Нод, низза-нила. Случалось, что целый день напролет утомленный странствиями старый мулла-мулгар не издавал не звука, кроме как в сумерках, когда он пел либо речитативом проносил вечерний гимн в честь Тишнар^[1]. Он держал при себе крепкую палку — которую называл своей *гуззой* — и поколачивал ею всех трех сыновей, когда те лодырничали, или дерзили, или обжирались сверх меры, или допекали свою мать *мунза*-шалостями. Но он никогда не баловал Нода больше, чем все добросердечные отцы — младших, самых крохотных и самых развеселых из своих детей.

Уже на памяти Нода Блик свалился с раскидистого дерева-*укка*: в пору урожая он залез на самый верх, карабкаясь с ветки на ветку и по пути разгрызая и поедая орехи, но вот, позабыв, что изрядно отяжелел, он перебросил грузную тушу на тонкий сухой сук, и сорвался, и рухнул вниз, и грянулся оземь крепким затылком. Под тем же темнолиственным деревом Сейлем и зарыл своего слугу, положив в могилу горшок шуббуба, семь ковриг или лепешек и длинный стебель тростника-уммуз. А Мутта-матутта больше в рот не брала орехов-*укка*.

Сейлем учил сыновей разводить огонь, рассказывал, какие орехи и корни, плоды и травы годятся в пищу; какие травы и кора и сердцевина каких деревьев обладают целебными свойствами; какие тростники и луб годятся для изготовления ткани. Он учил их добывать мед так, чтобы пчелы не закусали; учил считать; учил,



как находить дорогу по главной, самой яркой звезде; как вырезать дубинку, как построить шалаш из листвы и хвороста, чтобы укрыться от жары и дождя. Учил он их и всеобщему наречию лесных обезьян, то есть языку почти всех мулгаров, что только водятся в лесах Мунзы, — это и жакетчатые мулгары, и муллабруки, и красномордые, и шафрановоголовые мулгары, и долгопяты, и хохлатые манкаби, и мухоловы, и белкохвосты, и многие другие — всех мне и не перечислить. А еще Сейлем немного учил их языкам жутких гунга-мулгаров, и коллобов, и баббабумов. А вот наречиям минимул-мулгаров и умгаров, или человекообезьян (белых, черных и желтых), научить он не мог — он сам их не знал. Однако наедине отец с сыновьями разговаривали на тайном языке мулла-мулгаров, живущих к северу от Араккабоанских гор — то есть на королевском обезьяньем языке. Язык этот отчасти напоминает португальский, отчасти — оджевиббский, и местами, но самую малость — гарнье-резский. Сейлем, конечно же, учил сыновей, и в особенности Тома, еще много чему полезному — куда больше, чем удалось бы вместить в эту маленькую книжицу. Но самое главное, учил их ходить на двух ногах, не вкушать крови и никогда, кроме как перед лицом опасности или в миг отчаяния, не залезать на деревья и не отращивать хвост.

Но вот, прожив вдали от прекрасных Тишнарских долин и от дворца Ассасиммона целых тринадцать лет, Сейлем затосковал по дому и брату, с которым в детстве ходил разодетым в мамасул и багряницу и пил сироп из чаши эфелантовой кости. Он становился все угрюмее и сумрачнее прежнего и подолгу сиживал на корточках

в одиночестве, грустно глядя в никуда. А Мутта шептала Ноду: «*Тсс, зын низза-нила, тус-вита зан нуоми*».

Самые хитрые из лесных мулгаров поначалу приходили к Сейлему целыми стаями, нагруженные подарками — орехами и плодами, ибо чужак внушал им страх. Но Сейлем сидел недвижно в своей красной куртке и глядел на них как на докучных мух. И наконец обезьяны принялись в отместку досаждать ему всеми мыслимыми способами, пока он не устал донельзя от их ссор и потасовок, их тычков и окрасов, блох и хвостов. Под конец он уже и самого себя перестал слышать, так что однажды утром, на восходе солнца, когда дремлющий лес тонул в предутренней дымке, Сейлем уселся под сенью раскидистого дерева-укка, усыпанного бутонами, — того самого, откуда рухнул Блик, — и призвал к себе Мутту и трех своих сыновей. И сообщил им Сейлем, что отправляется в далекий путь — «в запредельные пределы, за лес и реку, за лесное болото и реку, за Араккабоанские горы, за многие, многие лиги», — чтобы вновь отыскать Тишнарские долины.

— Я вернусь, — заверил он, опершись ладонью о землю и подмигивая Ноду, — с рабами и багряницей, и с груженными снедью корзинами, и с *зевврами* и всех вас заберу туда, ко мне. Но сейчас я должен пойти один и отыскать дорогу сквозь опасности, коим несть числа, точно мухам, о мулла-мулгары! Ждите здесь и берегите вашу престарелую мать, Мутта-матутту, сыны мои, а тако же и ее уммуз, и ее деревья-укка. Набирайтесь сил, о бесхвостые, к моему возвращению. *Зу зоубе сизи муглафин, ийн суанг но ноуано зунбф!* — Вот и все, что сказал он.

И хотя Мутта-матутта не сумела скрыть горя в преддверии расставания, она помогла ему всем, чем смогла, чтобы Сейлем и минуты лишней не задержался. А он словно обезумел, этот седой, старый, сгорбленный мулла-мулгар. Глаза его полыхали огнем; он бормотал что-то себе под нос, он воздевал лапы и принюхивался, принюхивался, словно сам ветер нес Тишнар на своих крыльях. Ночами он вставал, в крошечной тьме открывал дверь и вслушивался, словно из глубины необъятных и пустынных лесов к нему зывали далекие голоса. Наконец он надел последнюю свою рубашку (ее бережно хранили все тринадцать лет, вместе с тушкой зимородка и мешочком цибета*, дабы отпугнуть тараканов) и свою самую парадную красную куртку и шапку из шкуры мамасула и, увязав в котомку изрядный запас лепешек-манака и тростника-уммуз, нож, и кресало, и целебное снадобье и вскинув на плечо старый проржавевший мушкет портингальца, собрался уходить. Рано поутру он, пригнувшись, шагнул за дверь. Окинул взглядом хижину, и источник, и пчел, и тростники; окинул взглядом трех своих сыновей и старую хмурую Мутту-матутту — и задрожал. Мутта не нашла в себе силы сказать «прощай»; по щекам ее бежали слезы; она воздела кривые руки над седой головой — и убежала в хижину, и пряталась там, пока Сейлем не ушел. А трое сыновей немало проводили отца.

.....

* Цибет — вещество с сильным запахом, которое выделяют циветты — хищные зверьки из семейства виверровых, живущие в субтропиках и тропиках Африки и Азии. После обработки цибет используется в парфюмерии. (Здесь и далее примеч. пер.).

Том и Тим резво скакали по тропе, таща промеж себя на палке тяжелую отцовскую кладь до того места, где мулгарский тракт разветвляется: здесь дорога, почти в два шага шириной, уходила во тьму Мунза-мулгара. Нод ехал на плече Сейлема и грыз стебель тростника-уммуз, цепляясь за длинный, холодный, проржавевший ствол мушкета. Дрожало знойное марево; деревья воздевали вверх ветви, завешанные серым колючим вервием, вьюнами и ползучими побегими *куллума* и *самафака*, а сквозь пышную листву проглядывали огромные восковые чаши цветов — лунно-белых, и янтарных, и розовато-лиловых, и алых. Маленькие бабочки-*томиниско*, точно цветные кляксы или вспышки пламени, рубиновые, изумрудные и аметистовые, переливались, и мерцали, и вспыхивали, и зависали в воздухе, и потягивали нектар. Лес наполнился тонким, звенящим, неумолчным гудением, сродни отзвуку арфы *Нуманосси*, — то звучали бесчисленные голоса крохотных созданий, что выют гнезда, роют норки и насыпают холмики в чаще.

Сейлем потрепал каждого из сыновей за плечо, каждому заглянул в глаза, потерял носом об нос. А они в прощальном жесте воздели лапы — и глядели отцу вслед, пока тот не скрылся из виду. И хотя его серая морда вся сморщилась от печали и увлажнилась от слез, Сейлем так ни разу и не оглянулся — из страха, что сыновья воззовут к нему и он повернет вспять. Так что со временем трое братьев снова взмахнули лапами, как будто *меермут* ^[2] отца все еще рыскал неподалеку, а затем возвратились домой к матери.

Настала пора дождей; Сейлем не вернулся. Долгие дни неспешно сменяли друг друга; на рассвете под сводами

Мунзы поднимался галдеж, стрекот и визг; с приходом тьмы протяжными, стонущими голосами перекликались муллабуруки. Нод порою углублялся в лес — правда, недалеко, — надеясь услышать гонги, те самые, что, как рассказывал отец, обритые рабы Ассасиммона привязывают ремнями из леопардовых шкур на шею своим зевврам. Младший из сыновей Сейлема сидел и ждал среди вечерних теней, глядел на светлячков и твердил себе: «Тс-с, Нод, смотри, что они говорят, — завтра!» Но никакое «завтра» так и не возвратило ему отца.

Мутта-матутта заботилась о сыновьях как могла. Она для них стряпала: выпекала огромные запасы лепешек-манака и для вящей сохранности все их аккуратно заворачивала в прохладные банановые листья; варила сыры из молока орехов-*нено* и по два-три горшка шуббуба. Она следила за тем, чтобы дети ходили чистыми и вычесанными; она врачевала их раны и поила целебным снадобьем; обучала стряпне и много чему другому, а братья подрастали один за другим и наконец усвоили все, чему она могла их наставить, — кроме разве мудрости воспользоваться этой наукой. А еще она частенько, едва все стихало с приходом ночи, рассказывала сыновьям разные истории про их отца, и про ее собственного отца, и так вплоть до самого Зеббы и до портингальца, который так и висел в углу вместе со связкой хвостов диких кошек. Но по мере того как шли годы, Мутта исхудала, погрузилась, исчахла от тоски и горя, одряхлела и занедужила, и под конец уже не вставала с постели из мха и хлопка.

Сыновья трудились для нее не покладая лап: они забирались глубоко в лес и переходили узкое болотце в поисках плодов, что пришлись бы ей по вкусу. Нод

приносил охапки свежих листьев для ее постели и пронзительным, срывающимся голосочком каждый вечер пел недужной старухе-матери гимн Тишнар. Он запекал для нее сладкий картофель и сыры-нено, заворачивая их в листья, и отплясывал вокруг нее: «Прыг-дрыг и топ, прыг-дрыг и топ», чтобы развеселить ее, — так пляшут *умгар-нигги*, некогда рассказывал ему Сейлем. Но она слабела и таяла с каждым днем, зубы у нее стучали, глаза пылали, и кусок не шел в горло... И вот одним тихим вечером, когда рядом был один только Нод (братья его, утомясь от зноя и тягучего жужжания в зеленой хижине, ушли в лес собирать орехи и хворост), а Мутта-матутта подремывала в своем углу, бормоча что-то себе под нос, в сумеречном безмолвии раздался голос Тишнар и старая обезьяна поняла, что умирает.

Нод подсел поближе к ней и сперва подумал было, что нездешнее пение — это отзвук далеких гонгов и близятся зеввры Сейлема, и сжал исхудалую мозолистую лапу в своих ладонях. Когда же вернулись Том и Тим со своими мешками и охапками хвороста на растопку, Мутта подозвала всех троих и объявила, что уходит, пусть лишь как тень-меермут, на поиски их отца. И велела она сыновьям всегда хранить верность и преданность друг другу и быть храбрыми.

— Пять пальцев служат одной руке, мои хорошие, — наставляла она. — И о, всегда помните вот что: вы все трое — мулла-мулгары, сыны Сейлема, чей дом далеко отсюда; вы мулла-мулгары, которые не ходят *по-фламбски*; то есть на четырех ногах; не вкушают крови и никогда, кроме как перед лицом опасности или в отчаянии, не залезают на деревья и не отрачивают хвоста.

В оплетенной ползучими стеблями хижине царил душный полумрак, подсвеченный лишь фиолетовым отсветом угасающей вечерней зари. Когда же Мутта немного отдохнула и перевела дух, она поведала сыновьям, что Сейлем в ночь накануне ухода сказал: если он погибнет в пути и не вернется, то через семь мунзагодов братьям должно, как только смогут, храбро идти за ним вослед. Со временем они, надо думать, доберутся до Тишнарских долин и их дядя, владыка Ассасиммон, окажет племянникам добрый прием.

— Страна его лежит в запредельных пределах, — рассказывала Мутта, — за лесом и рекою, за лесом, болотом, и рекою, и Араккабоанскими горами — за много, много миль отсюда.

Старая обезьяна умолкла; легкий, словно вздох, ветерок повеял в открытое окно, всколыхнул подвешенный скелет портингальца, и кости, сухо постукивая, словно бы повторили эхом: «За много, много миль».

— Вас ждет долгий утомительный путь, сыны мои. Но Владыка Ассасиммон, *мулла-мулла* над всеми мулгарами, велик и могуч, хижиной ему служит дворец из эфелантовой кости и *азмамогфила*, есть у него багряница и мамасул, рабы и павлины, и скота не счесть; и лиги и лиги укки и берберийских орехов; и бескрайние поля уммуза, и плодовые сады, и цветущие вертограды наслаждения. Ему принадлежит Роза всех мулгаров.

Слыша, как глухо звучит голос матери, восхваляющей красу той Розы, Тим переминался с ноги на ногу, ибо беспокойно сделалось у него на сердце. По слову Мутты братья достали из шкафа пропитанные цибетом свертки со всем добром и мелкими мулгарскими

сокровищами, что она берегла все эти годы для своих сыновей в преддверии самого последнего дня.

Тому и Тиму она вручила по красной умгарской куртке с изогнутыми металлическими крючками, а Ноду — тулупчик из шерсти горных овец, с девятью пуговицами эфелантовой кости. И все поделила поровну между братьями: ножи и дубинки их отца, бусины синие и изумрудные, и камешки-маргариты. Заржавленный тесак портингальца с выжженным на рукояти крестом она отдала Тому; пухлую черную засаленную колдовскую книжицу из листьев *эксвиксии* — Тиму; когда же наконец пришел черед Нода, Мутта сняла свою громадную шерстяную шапку, подбитую змеиной кожей, и из-под подкладки достала Волшебный камень.

— Вот что я отдаю Ноду, — сказала Мутта братьям, — потому что он — низза-нила и в нем есть магия. Подойдите ближе, сыны мои, Том и Тим, и сами увидите. Его мигающий (он же левый)^[3] глаз — зеленый с коричневым ободком; его большие пальцы выросли длинными и тонкими; у него еще сохранились два молочных зуба, а между ушами у него — низза-нильский хохолок. — Горячими исхудалыми пальцами Мутта осторожно раздвинула ему шерсть и показала братьям небольшую бархатистую полоску, она же хохолок, или знак, или прядь на макушке выше пробора. — О мулла-мулгары, как уговаривала я вашего отца забрать Волшебный камень с собой в дорогу! Но он не согласился. Он сказал так: «Храни его, и пусть сыны мои, буде потребуется, отнесут его по моим следам в королевство моего брата. По этой единственной примете он поймет, что перед ним в самом деле мои

сыновья, мулла-мулгары, принцы Тишнара, *сиббета ина манга Мох!*»

Ни в коем случае, малыш Нод, не теряй этот Волшебный камень, — наказала ему старая умирающая мать, — никому не отдавай его, и не играй с ним, и даже не одалживай на время; и если на вашем долгом пути вам будет грозить Третий сон^[4], или вы заплутаете, или вас одолеет страх, плюнь на камень и трижды осторожно разотри слюну большим пальцем левой руки в направлении *сама-вееза*, то есть противосолонь: Тишнар услышит тебя; помощь придет.

Крохотными неловкими пальцами Мутта завязала спящий молочно-белый Волшебный камень в подол овчинного тулупчика и откинулась на ложе, не в силах произнести более ни слова. Трое братьев — Том, Тим и Нод — сидели рядышком, перед каждым высилось по горке домашней утвари, о которой прямо сейчас они не могли думать иначе как с отвращением, — и неотрывно глядели в дверной проем. В фиолетовых сумерках хаотично мерцали светляки. Знойная ночь застыла недвижно, точно котел на медленном огне. На болоте *оубои* звал свою подружку и пел на диво сладко и звонко в темноте над свитым гнездом; крохотные *никкинакки*, или мышинные совы, мурчали в тростниковой кровле. И сказал Нод:

— Слушай, Мутта, слушай; оубои рассказывает свои секреты!

И она улыбнулась, не размыкая плотно закрытых век, и покачала старой головой.

И в самый глухой час ночи, когда Тим уснул сидя, раскинув длинные лапы на шероховатом столе портингальца,

а Том — скорчившись на полу, Нод услышал в тишине легкий вздох. Он подобрался к материнскому ложу. Мутта мягко махнула ему рукой — и смежила глаза.

Трое братьев вырыли для нее глубокую могилу рядом с Бликом, под деревом-укка, как она и велела. Ближе к вечеру того дня из лесу в великом множестве торжественно вышли лесные мулгары, по большей части ее соплеменники и родня, и, усевшись на корточки на некотором расстоянии от хижины портингальца, принялись голосить и причитать по Мутте-матутте. Им даже счесть было не под силу (хотя дело это нехитрое), сколько лет она, и ее отец, и отец ее отца, вплоть до Зеббы, прожили в этой хижине. Но ближе обезьяны не подошли — такой страх внушали им желтые кости портингальца, подвешенные в углу.

ПРИМЕЧАНИЯ

- [1] Тишнар — очень древнее слово: в Мунзе оно означает то, чего не облечь в слова и словами не выразить. Так что весь дивный, сокровенный, безмятежный мир за пределами жизни мулгаров — это Тишнар: и ветер, и звезды, и море, и бескрайнее неведомое. Но здесь подразумевается лишь Прекрасная Владычица с Гор. Так она прекрасна, что, если мулгар узрит во сне хотя бы одну из ее Дев и сон его не развеется при пробуждении, более не знать ему счастья среди себе подобных. Тогда он прячется в какой-нибудь заброшенной норе или в скалах,

косматый, нечесанный, света белого не видя, и ху-
деет и чахнет либо становится Странником, или
мох-мулгаром. Но такое случается нечасто, ведь
очень немногие мулгары видят во сне что-то кро-
ме леса; и лишь единицы сохраняют память о снах,
когда бодрствующим взорам их вновь открывается
живое видение Мунзы. Тишнарские долины лежат
по обоим склонам Араккабоанских гор, хотя сама
Тишнар бродит лишь среди безмолвных горных
снегов. Она изображена под покрывалом на при-
митивных горшках Ассасиммона и на мулгарских
процарапанных рисунках: одной рукою с тонки-
ми пальцами она придерживает бледно-лиловую
мантию, чуть наклонив голову — словно внемлет
своим мыслям; обута она в серебряные сандалии.
Обо всем об этом рассказывают странствующие
умгар-нигги, то есть чернокожие люди. А еще от
Тишнар приходит Последний Сон — сон всего
Мира. Последний сон одной отдельно взятой жиз-
ни — это Нуманосси: тьма, перемена и невозвра-
щение. А Имманала — та, что охотится среди те-
ней в здешней юдоли. Так что мулгары говорят:
«Нума, нума», понимая тень, как, например: «В све-
те солнца рядом с леопардом скользит его нума».
Слово «меермут» тоже отчасти означает тень: это
тьма, так сказать, меньшего света, поглощенного
сиянием Тишнар, так же как лунный свет может
отбрасывать тень сосны на тлеющие угли. А еще
есть легкий ветерок, что веет в ранних сумерках
и в звездном свете Мунзы — его называют Ветром
Тишнар. Думается мне, еле уловимый шорох того

ветра и зазвучал эхом в ушах Мутты-матутты на ее смертном одре, ибо говорится, будто, умирая, слышишь то, что при жизни несло вестей разуму не больше, чем свет несет руке. Что до колокольцев, перезвон коих услышал Нод и подумал, что отец близко, — то, верно, были зеввры Тишнарских Водяных *див* (все они — блуждающие меермуты). Эти Водяные дивы — или Водяные девы — прекрасны как лунный свет. Журчание и рокот бесчисленных ключей, потоков и водопадов — это их голоса. Они вместе с прочими Тишнарскими девами выезжают верхом на своих зевврах, разубранных колокольчиками, и странное безмолвие воцаряется там, где привязаны их маленькие невидимые лошадки; в то время как сами девы, вероятно, пируют в какой-нибудь ложине, седой от лунных лучей и призрачных цветов. Даже угрюмый муллабрук каким-то образом чувствует их присутствие и бежит на всех четырех от серебристого тумана их полей и зеленых прогалин; вот так же у него кровь стынет в жилах от дыхания стилого воздуха, когда мимо скользит какая-нибудь недобрая *нума*. Все внутренние тени обитателей Мунза-мулгара принадлежат Нуманосси; все духи, или призраки, или меермуты принадлежат Тишнар. Так что вся их недолгая жизнь — нескончаемая переменчивость и борьба. Леопардица (или *Розан*, как ее называют за красоту лоснящихся черных пятен) для своих детенышей — меермут, но нума — для увертливых долгопятов, коих поджидает она в засаде, распластавшись на ветке. Красота ее — от Тишнар; лютые когти —

от Нуманосси. Так что дети Мунзы темны или светлы, прекрасны или чужды в зависимости от того, преобладает ли в их природе меермут или нума. Так же они и выбирают, в какое тело вселиться. Но поскольку тьма — это просто угасший день, а жестокость — недостача доброты, даже сокрушающий сердца Нуманосси и сама Имманала суть лишь отсутствие Тишнара. Но, как вы сами видите, я тут разболтался о том, чего не в состоянии понять.

- [2] Меермут — это тень, призрак, фантом или даже запечатленное в мыслях воспоминание.
- [3] На правой стороне, или «на стороне дубинки», как говорят мулгары, восседает Храбрость; на «мигающей», «женской» или левой стороне — Хитрость.
- [4] Первый сон — это ночной сон; Второй сон — это обморочный сон; Третий сон — это смерть, или Нуманосси. А еще мулгары говорят, что первый сон — это Недалекий путь, второй — это Великий путь, а третий — Путь-без-Возврата, как будто тела их — это жилище, а сон — что-то вроде выхода за двери.